31761 06737879 4

ПОЭТ и ПАЛАЧ

(НЕКРАСОВ и МУРАВЬЕВ)

PG
3337
N4Z628
1922
c.1
ROBARTS

Presented to the

LIBRARY *of the*

UNIVERSITY OF TORONTO

by

Laurentian University Library

PG
3337
N4
Z628
1976

DISCARD
RETIRÉ

Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto

http://www.archive.org/details/poetipalachnekra00chuk

НЕКРАСОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА

К. ЧУКОВСКИЙ

LIBRARY
NOV 27 2006
UNIVERSITY OF TORONTO

ПОЭТ и ПАЛАЧ

(НЕКРАСОВ и МУРАВЬЕВ)

ПЕТЕРБУРГ
Издательство „ЭПОХА“
1922.

LIBRARY
NOV 2 7 2006
UNIVERSITY OF TORONTO

I.

Всякий раз, когда заходит речь о грехах и пороках Некрасова, раньше всего вспоминают ту пресловутую хвалебную оду, которую он прочитал Муравьеву-Вешателю на обеде в Английском Клубе 16 апреля 1866 года.

Утверждают, что двуличие Некрасова ни в чем не сказалось с такой очевидностью, как именно в этой чудовищной оде. В самом деле, как мог революционный поэт восхвалять кровавого усмирителя Польши и побуждать его к новым злодействам? Почему человек, одно имя которого вдохновляло борцов за свободу, который, кажется, только и делал, что твердил молодежи: „иди в огонь...“ „иди и гибни...“ „умрешь не даром: дело прочно, когда под ним струится кровь“... „бросайся прямо в пламя и погибай“,— почему он после того, как молодежь действительно бросилась в пламя, предал ее Муравьеву? А он именно предал ее, ибо (как тогда же сообщали газеты) он сам во всеуслышанье просил Муравьева усилить террор, призывал его к новым казням. Молодежи говорил: „иди и гибни,“ а Муравьеву: „иди и губи“.

„Ваше сиятельство, не щадите виновных!“—повторял он Вешателю и так настойчиво требовал кары для тех, кого сам же соблазнял на революционные подвиги, что им были возмущены даже жандармы.—Подлец, вредный иезуит,—говорил о нем один жандарм.—Из-за него столько народу сидит в казематах, а он катается в колясках, как ни в чем не бывало.[1])

Революционеры проклинали его. Один из ссыльных, лишь случайно ускользнувший от Муравьевской виселицы, писал много лет спустя:

[1]) „Голос Минувш.“ 1915. I, стр. 27.

—„При всей подлости этого поступка, какая была в нем доля глупости! Мы не говорим уже о гнусности того факта, что литература сочла за свой долг соперничать с палачами. Некрасов сделал бы меньшую подлость, если бы за свой собственный счет построил для нас виселицы“ [1]).

Таково было общее мнение. Вчерашние поклонники Некрасова срывали со стен его портреты и рвали в клочки или писали на них слово подлец и посылали ему по почте. Вообще, слово подлец прочно пристало в ту пору к Некрасову. Как мы ниже увидим, он сам называл себя так.

—„Браво, Некрасов, браво!“—писал Герцен в „Колоколе“.—„Признаемся... этого мы от вас не ждали, а ведь вам известно, как интимно мы знаем вашу биографию и как много мы могли от вас ждать. Браво, Некрасов, браво!“ [2])

Вся литература взволновалась. Поднялась неслыханная травля, которую год спустя Некрасов описывал так:

Гроза, беда!
Облава—в полном смысле слова...
Свалились в кучу—и готово
Холопской дури торжество,
Мычанье, хрюканье, блеянье—
И жеребячье гоготанье—
А-ту его! А-ту его! [3])

Эпиграммы, сатиры, пасквили, анонимные письма, пародии—все было пущено в ход. Не было, кажется, такого самого ничтожного писаки, который не клеймил бы его. Один Минаев посвятил ему три или четыре сатиры. Фет в великолепных стихах назвал его продажным рабом, отлученым от храма поэзии:

Но к музам, к чистому их храму,
Продажный раб, не подходи [4]).

Оправдываться было невозможно. Напрасно Некрасов пытался на первом же редакционном собрании об'яснить свой поступок сотрудникам, те смотрели на него хмуро и сумрачно [5]).

---

[1]) И. А. Худеков. Из воспомин. шестидесятника. „Истор. Вестн.“ 1905 г. дек.
[2]) „Колокол“. 1866. № 220.
[3]) „Медвежья охота“. Стих. Некрасова. СПБ. 1920, стр. 206.
[4]) А. А. Фет. Полное Собр. Стихотв. СПБ. 1912, стр. 84. „Псевдо-поэту“
[5]) „Голос Минувш.“ 1915. I, стр.

Многим эта ода причинила страдания. Например, Глеб Успенский и через двадцать пять лет вспоминал о ней, как о личном несчастьи, и видел в ней одну из причин своего идейного сиротства [1]).

Но большинство торжествовало и злорадствовало. Поэт Щербина, для которого всякая беда либералов была истинным праздником, писал:

От генерала Муравьева
Он в клубе кару вызывал
На тех, кому он сам внушал
Дичь направления гнилого,
Кого плодил его журнал.
Ну, словом, наш он либерал,
Не говоря худого слова [2]).

Водевилист Каратыгин писал, весело играя словами:

Из самых красных наш Некрасов либерал,
Суровый демократ, неподкупной сатирик,
Ужели не краснел, когда читал
Ты Муравьеву свой прекрасный панегирик? [3])

Как мы уже говорили, очень суетился Д. Минаев и в целом ряде стишков утверждал, что теперь с Некрасова „спала маска", что его лира сделалась „лирой холопства", что его муза „развратница" и что благодаря ему Аполлон „нарядился в ливрею швейцара". Не забыт был и Некрасовский „рысак", и пристрастие поэта к „козырному тузу". По цензурным условиям нельзя было высказаться определенно, но все намеки были так прозрачны, что сатира достигла цели. Особенно часто Минаев поминал о том злополучном обеде, на котором Некрасов прочитал свою оду:

Твоей трибуной стал обед [4])

---

[1]) Сборник „Памяти Гольцева", стр. 192.
[2]) „Историч. Вестник" 1891, т. 43, стр. 63.
[3]) Историч. Вестник. 1899, т. 78, стр. 483.
[4]) Д. Минаев „В сумерках". СПБ. 1868, стр. 6 и 32. Стих. „Муза", „Обманутая Муза" и т. д.

и называл поэта „дессертным певцом“. Пародируя Некрасовскую „Песню Еремушке“, он обращался к поэту с такими словами:

Братством, Истиной, Свободою
Спекулировать забудь,
Лишь обеденною одою
Надрывай больную грудь.
Пусть мальчишки все строптивые
И засвищут на Руси,
На пирах куплеты льстивые
В честь вельмож произноси [1]).

Конечно, эти подцензурные строки лишь в малой степени выражали негодование общества. В сатирах, предназначенных не для печати, приговоры были гораздо суровее. Замечательно, что, хотя Некрасов сейчас же после написания оды и оправдывался пред своими соратниками, он с презрением отверг покушения русского общества произнести ему тот или другой приговор. Он прямо говорил обвинителям: вы такие же подлецы, как и я:

Зачем меня на части рвете,
Клеймите именем раба?
Я от костей твоих и плоти,
Остервенелая толпа.
Где логика? Отцы злодеи,
Низкопоклонники, лакеи,
А в детях видя подлецов,
И негодуют, и дивятся,
Как будто от таких отцов
Герои где нибудь родятся!

Да, я подлец, но и вы подлецы. Оттого я подлец, что я ваше порождение, ваша кровь. Вашего суда я не признаю, вы такие же подсудимые, как и я. Что такое общественное мнение в России?

Его нельзя не презирать
Сильней невежества, распутства, тунеядства.
На нем предательства печать
И непонятного злорадства [2]).

---

[1]) Д. Минаев. „Песни и Поэмы“. 1870. стр. 272.
[2]) „Медвежья охота“. Собр. стих. Некрасова СПБ. 1920, стр. 206.

На этой позиции Некрасов утвердился прочно:

Не оправданий я ищу,
Я только суд твой отвергаю [1])

говорил он остервенелой толпе, и в третьем стихотворении, написанном в том же году, принял такую же роль обвинителя:

Что ж теперь
Остервенилась ты, как зверь,
Без размышленья, без ума,
Как будто что нибудь сама
Дала ты прежде мне в залог,
Чтоб я иным казаться мог? [2])

Словом, он не отрицал, что он виновен, он только оспаривал право тогдашнего русского общества учинять над ним суд.

II.

Как же это произошло? Попробуем возможно полнее восстановить по отрывочным данным весь этот эпизод с Муравьевым.

По словам „Московских Ведомостей“ (от 20 апреля 1866 года) стихи Некрасова оканчивались так:

...виновных не щади!

После обеда, когда Муравьев, по словам той же газеты, продолжал распространяться о мерах для обуздания крамольников, Некрасов, обращаясь к нему, повторял:

—Да, ваше сиятельство, нужно вырвать это зло с корнем [3]).

Неведенский в своей книге „Катков и его время“ утверждает, что Некрасов произнес эти слова именно тогда, когда Муравьев, пользуясь присутствием Некрасова, стал указывать на вредные учения, распространяемые журналами в обществе, на яд, прививаемый молодому поколению“ [4]).

---

[1]) Там же, стр. 217.
[2]) Там же. Вариант поэмы „Суд“, стр. 553.
[3]) „Моск. Ведомости“ 1866 г. 21 апр.
[4]) С. Неведенский. „Катков и его время“, стр. 494.

По словам „Северной Почты“, чтение оды происходило уже за кофеем, когда обедавшие покинули обеденный стол и перешли в галлерею. Тут выступил некто Мейснер и прочитал Муравьеву стихи своего сочинения, которые всем очень понравились. „Граф и все общество выслушало (их) с удовольствием“ [1]). Совсем иное отношение вызвали к себе стихи Некрасова. В „Русском Архиве“ за 1885 год напечатана небольшая заметка Бартенева „Стихотворение Некрасова Графу М. Н. Муравьеву“ [2]). Заметка не совсем достоверная, полагаться на нее невозможно, но одно в ней указано правильно: стихи Некрасова покоробили всех. „По словам очевидца“,—повествует Бартенев,—сцена была довольно неловкая; по счастию для Некрасова, свидетелей было сравнительно немного“. Это подтверждается показанием барона А. И. Дельвига, одного из самых пунктуальных и аккуратных свидетелей. „Крайне неловкая и неуместная выходка Некрасова очень не понравилась большей части членов клуба,“—повествует Дельвиг в своей книге „Мои воспоминания“ (т. III стр. 378) [3]).

Читая записки Дельвига и сопоставляя их с другими свидетельствами, ясно представляешь себе всю эту неловкую сцену. Муравьев, многопудовая туша, помесь бегемота и бульдога [4]), сидит и сопит в своем кресле; вокруг него наиболее почетные гости. Некрасова нет среди них, это тесный кружок, свои. Тут старшина клуба, граф Григорий Александрович Строганов; друг и сотрудник Муравьева генерал-лейтенант П. А. Зеленой, князь Щербатов, граф Апраксин, барон А. И. Дельвиг и другие. Небольшая кучка интимно-беседующих. Официальное торжество уже кончилось. Вдруг к Муравьеву подходит Некрасов и просит позволения сказать свой стихотворный привет [5]). Муравьев разрешил, но даже не повернулся к нему, продолжая по прежнему курить свою трубку. Жирное, беспардонное, одутловатое, подслеповатое, курносое, бульдожье лицо Муравьева попрежнему осталось неподвижным. Он словно и не заметил Некрасова. По словам П. М. Ковалевского (которые не следует понимать буквально), Муравьев окинул его презритель-

---

[1]) „Сев. Почта“. 1866 г. № 86.

[2]) „Рус. Архив.“ 1885 г. II, стр. 202.

[3]) Не была ли статья в „Русском Архиве“ сообщена бар. Дельвигом? В ней тот же тон, что и в его „Воспоминаниях“.

[4]) Сравнение Муравьева с бульдогом есть в записках Н. В. Берга и в „Колоколе“. Бегемотом называли его подчиненные, по свидетельству Ан. Егорова в „Рус. Ст.“ 1883 г. апр.

[5]) А. Н. Мосолов. „Виленские очерки“. СПБ. 1898.

ным взглядом и повернул ему спину [1]).—Ваше сиятельство, позволите напечатать?—спросил Некрасов, прочитав свои стихи.—Это ваша собственность,—сухо отвечал Муравьев,—и вы можете располагать ею, как хотите.—Но я просил бы вашего совета,—настаивал почему-то Некрасов.—В таком случае, не советую,—отрезал Муравьев, и Некрасов ушел, как оплеванный, сопровождаемый брезгливыми взглядами всех. Герцен сообщал в „Колоколе", со слов петербургских газет, будто „Муравьев, повидимому, небольшой поклонник виршей Некрасова, заметил ему: я желал бы вас отстранить от всякой круговой поруки со злом, против которого мы боремся, но вряд ли могу" [2]).

Неужели Некрасов думал, что Муравьев хоть на миг поверит искренности его дифирамбов? Все реакционеры, вся Муравьевская партия увидели в его выступлении лукавый и трусливый маневр, лицемерность которого так очевидна, что уже не может обмануть никого.

„...Он думает подкупить правосудие, написавши и читавши стихи в честь Муравьева,—восклицал уже цитированный нами жандарм.—Но уж погоди, не увернется он, не может быть, чтобы нельзя было его запопасть" [3]).

Но хуже всего было то, что этот поступок Некрасова не принес ему ожидаемых благ, и презрение, которое он вызвал в реакционных кругах, было равно негодованию радикальных. Муравьев, не взирая на оду, все равно закрыл „Современник" и, по словам генерала П. А. Черевина, одного из его сподвижников—„в лице Чернышевского, Некрасова, Курочкина, об'явил войну литературе, ставшей на ложном пути" [4]).

Некрасов не встретил моральной поддержки ни у той, ни у другой стороны. „Сделать подлость, но умно сделать,—еще за это простить могут; а сделать подлость и глупость разом—непростительно,"—писал по этому поводу П. М. Ковалевский.

Во всем этом эпизоде моральная победа, по мнению многих, оказалась на стороне Муравьева. „Государственный хамелеон", как называл его другой хамелеон,—в этом деле Муравьев был

---

[1]) П. М. Ковалевский. „Стихи и воспом". СПБ 1912, стр. 296.

[2]) „Колокол". 1866. № 220.

[3]) „Голос Минувш." 1915 янв., стр 27.

[4]) Библиот. Общ. движ. в России. Вып. I. Записки П. А. Черевина. Кострома. 1918, стр. 71.

прям. Он не лебезил и не хитрил. Его откровенность доходила порою до цинизма и отвратительной грубости, но никто из самых злых его недругов не скажет, чтобы в своих отношениях к полякам и революционерам он двоедушничал, политиканствовал, лукавил, как, например, Валуев или Головнин. Он был вешатель, но вешатель открытый; он вешал по убеждению, по долгу, по совести, „Тяжелая выпала на меня обязанность",—писал он московскому митрополиту Филарету, — „...карать клятвопреступников мерами казни и крови... Я духом покоен и иду смело по пути, мне свыше предопределенному" [1]). Он не заискивал у представителей враждебного лагеря, как например, князь Суворов, петербургский генерал-губернатор.—Если человек стоит веревки, так и вздернуть его поскорее!—такова была его программа, которую он не боялся высказывать вслух.—Я не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, которые вешают сами.

Когда его спросили, каких поляков он считает наименее опасными, он отвечал лаконически:

— Тех, которые повешаны... [2]).

Это был человек беспардонный и даже бравировавший своей беспардонностью, но ни фальши, ни иезуитизма в нем не было.

Во всем этом выступлении Некрасова, помимо измены революционному знамени, была еще одна неблаговидная особенность, на которую до сих пор почему то не обращали внимания. Известно, как Некрасов любил свою мать. В мире, кажется, не было другого поэта, который создал бы такой религиозный культ своей матери. И всегда из его слов выходило, что она была полька. В его стихотворении „Мать", написанном на смертном одре, повествуется, что в детстве поэта она пела о польском восстании 1831 года:

Несчастна ты, о родина, я знаю:
Весь край в крови, весь пламенем об'ят.

Как же решился он чествовать усмирителя Польши? Разве этот поступок—не оскорбление памяти матери? Если верить „Русскому Архиву", в оде Некрасова были такие слова:

---

[1]) „Записки графа М. Н. Муравьева". Рукопись в Пб. Публич. Библиотеке.

[2]) „Рус. Стар." 1883 янв. Воспоминания П. Карцева. „Гр. Ф. Ф. Берг и М. Н. Муравьев". „Рус. Стар." 1883, апр. П. В. Берг." Гр. М. Н. Муравьев".

Мятеж прошел, крамола лжет,
В Литве и Жмуди мир взойдет;
Тогда и самый враг твой скажет:
Велик твой подвиг... и вздохнет,—

Вздохнет, что, ставши сумасбродом,
Забыв присягу, свой позор,
Затеял с доблестным народом
Поднять давно решенный спор.

Пускай клеймят тебя позором
Лукавый Запад и враги:
Ты мощен Руси приговором,
Ее ты славу береги.

Нет, не помогут им усилья
Подземных их крамольных сил.
Зри! над тобой, простерши крылья,
Парит архангел Михаил!

Некрасов говорит о присяге! Сын польки укоряет поляков за то, что они изменили царю! Сын польки именует польское восстание крамолой! Он, западник, высказывает презрение к лукавому западу! Он, революционный поэт, утверждает, что небесные ангелы осеняют вешателя крылами!

Здесь такая измена своим убеждениям, которую, кажется, невозможно ни понять, ни простить. Правда, у нас есть основания думать, что это не те стихи, которые читал Некрасов Муравьеву, что впоследствии кто-то заменил их другими, ибо те, по словам газет, заканчивались призывом не щадить виновных и, по словам самого Некрасова, имели всего 12, а не 20 строк. Но, кажется, те стихи были не лучше, а еще хуже этих, и Некрасов явился в них еще большим изменником заветнейшим своим убеждениям.

Но странно: эта измена кажется таким большим преступлением только тогда, когда мы рассматриваем ее вне связи с тогдашней общественной жизнью, искусственно выделяя ее из всей совокупности бытовых и исторических явлений. А между тем, стоит только рассказать это дело так, как оно происходило тогда, не изолируя Некрасова от его эпохи и среды, и он тотчас же окажется оправдан,—если не совсем, то отчасти. В русском обществе не найдется

прокурора, который посмел бы его обвинить, потому что тогдашнее русское общество было так же виновато, как и он. Достаточно рассказать по порядку все, что происходило в те дни, когда он прочитал свою оду, и смягчение приговора обеспечено.

К этому мы и приступим теперь.

III.

Польское восстание, для усмирения которого Муравьев был назначен 1 мая 1863 года полновластным диктатором Польши, вызвало в русском обществе большой прилив националистических чувств. Развитию и укреплению этих чувств немало способствовало вмешательство европейских держав, выступивших на защиту поляков. Неприязнь к европейским державам, утвердившаяся в тогдашних обывательских, чиновничьих и военных кругах, усилила так называемую ультра-русскую партию московско-славянофильского толка, куда входили такие люди, как митрополит Филарет, Погодин, Тютчев, Леонтьев, Катков. Эта партия сплотилась вокруг Муравьева. К концу 1863 года Муравьев стал ее кумиром. Она видела в нем Русского Витязя, Русского Богатыря, бестрепетного бойца за единодержавную Русь, гениального ревнителя русской национальной идеи, создавшего из Польши оплот русских государственных начал, спасителя русской державы от козней лукавой Европы, мечтавшей воспользоваться польским восстанием для унижения русской земли.—„А Муравьев хват! "—писал славянофил Кошелев славянофилу Погодину в 1863 году.—„Вешает да расстреливает. Дай Бог ему здоровья!" [1]).

Муравьев чрезвычайно ценил моральную поддержку этой партии. Катков стал идеологом Муравьевского дела. В своей газете он об'яснял Муравьеву всю нравственную красоту его подвига. Статьи Каткова были любимейшим чтением Муравьева и его сподвижников. Муравьев говорил о Каткове:

— Воистину русский человек.

В его устах слово р у с с к и й было величайшей похвалой. Из его записок мы знаем, что когда он хотел похвалить человека, он говорил:

— В душе в высшей степени русский.

---

[1]) Николай Барсуков. „Жизнь и Труды М. П. Погодина",—книга XX, стр. 186.

А когда хотел обругать, говорил:

— Космополит! Приверженец европейских идей! [1]).

Это было в духе той партии, которая выдвинула и поддерживала его.

Но не только партия, а вся Россия, за исключением малочисленных интеллигентских кругов, приветствовала Муравьева, как своего избавителя. „Патриотический сифилис", по выражению Герцена, постепенно всасывался во все соки и ткани русского общества, и так как именно тогда начинала входить в обиход московская трактирная мода на застольные речи, поздравительные телеграммы, депутации, то едва только Муравьев выступил на борьбу с полонизмом, как на него сейчас же посыпалось такое огромное количество спичей, депеш, адресов, депутаций, молебнов, торжественных встреч, оглушительных криков ура, колокольных звонов, букетов, гирлянд, вензелей, флагов, плошек, альбомов, поздравительных писем, икон (особенно икон: без конца, больших и маленьких, золотых и серебряных), что в конце концов эти ежедневные почести стали для него необходимостью.—„Пьем за здоровье и успехи Вашего Высокопревосходительства! Ура!"—телеграфировали и писали ему из Пирятина, Суража, Мензелинска, изо всех российских городов и местечек. Скоро он почувствовал себя любимцем России, популярнейшим человеком в Империи. „Внимание и сочувствие России—лучшая для меня награда", неизменно отвечал он на эти приветствия. Не каждому самодержцу выпадали такие великие почести. Его сутулая тяжелая фигура почти заслонила Александра Второго. Александр Второй стушевался перед этим самодержавным диктатором. Дело дошло до того, что Герцен в своем „Колоколе" шутя предлагал Муравьеву похерить Александра Второго да и сесть на всероссийский престол [2]). И действительно, Муравьев словно родился для диктаторства: „это был властитель по природе, по призванию, по привычке" [3]),—говорит о нем один его поклонник. В его тигровых, налитых кровью глазах сказывался властный повелительный ум крутого монгольского деспота. Подавив мятеж, он принялся за столь же лютое обрусение Польши, демонстрируя перед бессильной Европой презрение самодержавной России к европейскому общественному мнению,—при чем его за-

---

[1]) „Русск. Стар." 1883 янв. „Записки Гр. М. Н. Муравьева". Стр. 144, 150, 151.

[2]) А. И. Герцен. Полное собр. соч. т. XVI. СПБ. 1920, стр. 489.

[3]) „Истор. Вестн." 1892, дек. Кн. Николай Имеретинский. Воспоминания о гр. М. Н. Муравьеве.

коны о мирном обрусении Польши оказались еще ужаснее виселиц.

Но, подавляя Польшу и обуздывая европейские державы, Муравьев с огорчением видел, что есть у него еще один враг, которого не может покорить даже он. Всех покорил, а этого не может. Нечего было и думать о победе над этим врагом, а без победы над ним всякая другая победа—ничто. Имя этого врага—Петербург. Там в придворных и чиновных кругах Муравьева, ненавидели издавна. И раньше всех Александр II, который, как ни старался, не мог подавить в себе чисто физическое отвращение к нему[1]). Ближайшие друзья Александра II поддерживали в нем это чувство. Графы Шуваловы (отец и сын), князь Долгоруков, барон Ливен, Иван Матвеевич Толстой—тесная кучка интимных друзей государя, с которыми он проводил вечера, ездил на охоту, играл в ералаш, ничего, кроме презрительной ненависти, не питала к диктатору Польши [2]). Самым ярым врагом Муравьева был давнишний приятель царя, князь Суворов, петербургский генерал-губернатор, который сделал своей специальностью ругать этого *изверга* на всех перекрестках:

— Если меня и его пошлют на том свете в рай, я попрошусь в ад, лишь бы не быть с Муравьевым.

Когда Суворову предложили подписаться под приветственным письмом к Муравьеву, Суворов ответил:

— Я людоедов не чествую.

И эта фраза облетела всю столицу [3]).

---

[1]) См. „Воспоминания“ П. А. Черевина. Библ. Общ. Движений в Рос. вып. III, стр. 5: „Государь Император, положительно не любивший его“... В брошюре гр. С. Шереметева «М. Н. Муравьев и его дочь» на стр. 17 есть смутное указание на то, что после смерти Муравьева его дочь укоряла государя за холодное отношение к нему.

Сам Муравьев жалуется в „Записках“: „Я еще больной явился к государю, который, повидимому, не нашел нужным оказать мне особое внимание во время моей болезни... Я сухо встретился с государем... Повидимому все было забыто государем“. (См. „Записки гр. М. Н. Муравьева“. Рукопись в Публ. Библ.).

[2]) Кн. В. П. Мещерский. „Мои воспоминания“ СПБ. 1897, стр. 310, 332, 333.

[3]) „Русск. Стар.“ 1883 г. XXXVII, стр. 616. Когда поклонник Муравьева, генерал Черевин, в цитированных выше „Воспоминаниях“ пишет о „нравственном упадке советников царя“, об „антирусской партии“, о „партии врагов России в Петербурге“, он разумеет именно перечисленных лиц: Рейтерна, Валуева, Головнина, Суворова, Долгорукова, Шувалова, Толстого и др. (См. стр. 5, 14, 20, 46, 49, 71).

Не только Зимний дворец, но и Мраморный, где жил великий князь Константин Николаевич, вытесненный Муравьевым из Польши, культивировал вражду к Муравьеву. Не только Мраморный, но и Михайловский, в котором имела пребывание Елена Павловна, либеральная великая княгиня. Словом, почти весь титулованный, придворный, именитый Петербург, за исключением нескольких стародворянских гостиных, был враждебен и Муравьевскому делу, и самому Муравьеву.

Муравьев это знал, он знал, что и другой Петербург, Петербург департаментов и канцелярий, питает к нему такую же злую, хотя и более скрытую вражду. Министр внутренних дел Валуев, бывший в глазах Муравьева тайным сторонником Польши, врагом России, космополитом, приверженцем европейских идей, казался ему воплощением всего бюрократического Петербурга. Хотя и из Петербурга порою шли к нему иконы и депеши, но и тех и других было мало. Генерал-лейтенант Зеленой, его соглядатай и друг, тайно докладывал ему о петербурских дворцах и канцеляриях, и Муравьев был отлично осведомлен о том, что делается во враждебном лагере [1]).

И в конце концов Петербург победил Муравьева. При первой же возможности диктатор был милостиво свергнут с престола и со всякими—почти похоронными—почестями превращен в простого генерала—одного из тех апоплектических, жирных, никому не нужных стариков-генералов, каких много гуляло тогда по Невскому, по солнечной стороне. Государь почтил его высочайшим рескриптом, коим даровал ему графский титул, но твердо отстранил от всяких государственных дел.

Москва негодовала, Петербург ликовал. Вся петербургская антимуравьевская партия, Шуваловы, Толстые, Суворов, Долгоруков, Рейтерн, Валуев, Головнин, торжествовали победу. Муравьев удалился в свое имение под Лугой. Как и всякий живущий на даче отставной генерал, он каждое утро сидел в белом кителе у себя на балконе, курил любимую старую длинную трубку, кашлял, пил кофе, молчал. По вечерам сидел в столовой, ел прогоквашу, малину, кашлял, курил, молчал. Изредка принимал депутации, которых становилось все меньше. У него усилилось ожирение сердца, ожирение всего организма. Легко ли после такого могущества превратиться в простого дачника, которому только и оставалось,

[1]) „Гол. Мин." 1913, IX. „Письма М. Н. Муравьева к П. А. Зеленому".

что грибы собирать! Тоска по власти томила его. Все смотрели на него, как на бывшего человека, у которого все позади. Он и сам чувствовал, что его сдали в архив, сразу одряхлел и ослаб и, как все бывшие люди, принялся по переезде в Петербург диктовать свои воспоминания [1]). В этих воспоминаниях сказалась его прозаическая, сухая натура: ни одного колоритного слова, ни одной живой характеристики. Казенный, департаменский стиль, без всяких интонаций и оттенков. Это не столько мемуары, сколько длинный канцелярский отчет. В этом отчете он пишет: „Я не только не получал никакой поддержки из Петербурга, но употребляемы были все меры к возможному противодействию мне".

Дни проходили. Наступила весна 1866 г. Муравьев постепенно погружался в забвение. Газеты писали уже не о нем, а о Гладстоне, о Пруссии, о голоде в Бессарабии, о „Преступлении и наказании" Достоевского, о концерте Рубинштейна, о каком то петербургском купце, который на многолюдном обеде в купеческом собрании вдруг закричал кукареку [2]). Депутации почти прекратились. Нет ни венков, ни икон, ни депеш.

И вдруг на него сваливается небывалое счастье, такое, о котором он не смел и мечтать, ему снова дают огромную власть, уже не над Варшавой или Вильной, а над его давнишним врагом, ненавистным ему Петербургом. Теперь он покажет космополиту Валуеву и прочим холопам европейских идей,—Долгорукову, Головнину, Суворову! Теперь сам царь будет выполнять его волю.

Валуев, встретивший Муравьева в тот день, когда Александр снова призвал его к власти, записал у себя в Дневнике: „Видел Муравьева во дворце. Он еще не был в кабинете Государя, но один факт, что за ним послали, что его сочли нужным, снова изменил его во всех внешних приемах и в настроении духа. Он иначе ходил, иначе садился, командовал рейткнехтами, сердился, что его заставляли ждать" [3]).

---

[1]) Граф Сергий Шереметев. „Граф М. Н. Муравьев и его дочь". СПБ. 1892, стр. 15.

[2]) См. „Московские Вед." и „Петербург. Вед." в марте и апр. 1866 г.

[3]) „Русская Старина" 1890, март. П. А. Валуев. „Заметки на записки гр. М. Н. Муравьева"

IV.

Произошло это так: в тот самый день, 4 апреля 1866 года, когда Муравьев, сидя у себя на Сергиевской, в собственном, недавно купленном доме, заканчивал свои „Воспоминания", на Дворцовой Набережной у Летнего Сада собралась небольшая толпа и молча смотрела, как Государь Император, гулявший со своею собакой в саду, садится в ожидающий его экипаж. В этом не было ничего необычного. Государь чуть не ежедневно гулял в Летнем Саду со своей собакой. Но в ту минуту, когда он подошел к экипажу и стоявший на посту городовой подбежал, чтобы подержать ему шинель, сквозь толпу протискался какой-то высокий и унылый блондин и начал мрачно целиться в царя. Сторож Летнего Сада увидел его издали и крикнул. Толпа напала на неторопливого стрелка, но полиция спасла его от самосуда и поволокла к Цепному мосту, к жандармам. Царь взял из его рук пистолет и тоже поехал к жандармам, а оттуда в Казанский Собор, принести благодарственное Господу Богу молебствие [1]). Это было в четвертом часу, а в пять вся столица знала о чудесном спасении царя. Петербург сошел с ума от радости. Все высыпали на улицу, завопили ура, побежали на Дворцовую площадь. — „Он не русский!" — кричали в толпе про стрелявшего. — Он не может быть русским! Русские обожают царя" [2]). Когда на следующий день о событии узнала Россия, произошло небывалое. Города, народности, сословия стали состязаться друг с другом в выражении патриотических чувств. Армяне, писаря, ямщики, интенданты, евреи, староверы, московские греки, торговцы Мариинского рынка, артисты балета, Финляндский Сенат, Калашниковская биржа, Академия Наук, татары, фармацевты, арестанты, студенты Моисеева закона, жители Киева, Одессы, Варшавы, Выборга, Вытегры, Охты, Нарехты, Лахты, жители Ялты, Балты, Омска, Томска и каких то Шарлатун, и какой то Вечуги засыпали весь Зимний дворец телеграммами, словно по чьему то приказу [3]). Даже рабочие, даже студенты спешили заявить свою радость. Тысяча сестрорецких рабочих устроила манифестацию в честь царя. Пятьсот рабочих с фабрики Шиловых

[1]) „Записки П. А. Черевина". Новые материалы по делу Каракозовцев. Изд. Костр. Науч. О-ва по изучению местного края, стр. 2.

[2]) „Голос". 8 апр. 1866 г.

[3]) „Рус. Инвалид". 1866 г. № 99 „СПБ. Ведомости" от 10 апр. 1866 г.

прислали царю телеграмму, выражая благодарность Вседержителю за спасение жизни Венценосца [1]). Газеты очень одобряли московских студентов за то, что те забыли свое недавнее прошлое и отправились, в числе двухсот человек, стройной процессией, с пением национального гимна к Иверской иконе Божьей Матери и, собрав многолюдный митинг, отслужили под открытым небом молебен, а потом проследовали на Красную площадь к памятнику Минина и Пожарского и пропели „Спаси Господи Люди Твоя". Потом они отправились к той типографии, где печаталась газета Каткова, и шесть раз подряд спели под окнами „Боже царя храни". Перед этим они явились на концерт Рубинштейна и, выйдя на эстраду, потребовали национального гимна, а после концерта Николай Рубинштейн ходил вместе с ними по улицам с оркестром, исполнявшим увертюру в честь царя, сочиненную Антоном Рубинштейном [2]).

От студентов не отстали гимназисты. В первой петербургской гимназии девятилетние-десятилетние мальчики поставили патриотический спектакль, после которого один гимназист, стоя на коленях, произнес:

— Господи, благодарю тебя, что ты отвратил этот страшный удар [3]).

И по словам сантиментальных репортеров никто не мог смотреть на этого ребенка без слез.

Особенно торжествовали арестанты и во множестве тюрем, словно по чьей-то команде, отказывались от приварочных денег, чтобы на эти деньги, добытые голодом, купить икону Александра Невского и украсить ею свою тюремную церковь в честь чудесного спасения Монарха [4]).

Ликование было искреннее, но все время в нем чувствовался какой-то надрыв. Каждый чрезвычайно хлопотал, чтобы его восторг был замечен. Каждый боялся, что могут подумать, будто он не чувствует восторга. Все относились друг к другу с подозрительною требовательностью и слишком уж демонстративно ликовали. Появились какие-то пьяные, которые ревниво следили за тем, чтобы каждый кричал ура. Не снявших шапку беспощадно избивали. Рабье общество умело ликовать лишь по-рабьи. Уже на третий день после выстрела в разговорах и газетных

[1]) „СПБ. Ведомости" от 15 апр. 1866 г.
[2]) „Сев. Почта". 1866. № 79. „Русские Вед."; 1909. № 8.
[3]) „Рус. Инв." 1866. № 95.
[4]) Там же; Рус. Инв. 1866. № 100.

статьях стала чувствоваться зловещая фальшь. Установился особый сантиментально-канцелярский, приторно-казенный язык, которым и надлежало из'являть свои чувства. Как бы для того чтобы резче подчеркнуть эту фальшь, спасителем царя был об'явлен пошлый и плюгавый человечек, Комиссаров, картузник, и уже то, что у самодержавия для роли Сусанина не нашлось никого другого, кроме этой мизерной фигурки, было конфузным свидетельством его внутренней непоправимой нищеты [1]). Во время выстрела картузник стоял в толпе и глазел на царя. После выстрела он вместе с другими был схвачен на месте события и отправлен в генерал-губернаторский дом, а оттуда в третье отделение к жандармам и думал, что погиб навсегда, но через два-три часа начальство почему то внезапно решило, что он то и спас царя, что он ударил стрелявшего под руку и отвратил пулю от царской груди—и вот его сажают в карету и везут в Зимний Дворец, где, при огромном стечении вельмож и сановников, царь обнимает его, благодарит за самоотверженный подвиг и впопыхах возводит в дворянское звание [2]), к неудовольствию многих дворян. Несчастный в столбняке, на него страшно смотреть, его крошечное, смазливое, безбородое, ничтожное личико выражает смертельный испуг; он похож на приговоренного к казни, пот так и льет с него, а ему оказывают царские почести, великие князья, генералы, министры жмут ему руки, ласкают, целуют его. На следующий день вся Россия торопится излить на него свой благодарный восторг. Священники с церковных амвонов именуют его ангелом-хранителем, газетчики зовут его смиренным орудием промысла, стихотворцы сулят ему вечную славу в потомстве, художники публикуют в газетах, что за сходную цену от двухсот до двух тысяч рублей они берутся изготовлять в каком угодно количестве „портреты потомственного дворянина Иосифа Ивановича Комиссарова-Костромского, спасшего жизнь Его Величества Государя Императора“ [3]), и уже одно то, что его именуют не Осипом Иванычем, а Иосифом Ивановичем и даже Иосифом Иоанновичем, показывает, какой безвкусный и ви-

[1]) „Это в сущности препошлый человек . . . Он от природы туп до крайности“,—записал Никитенко в Дневнике со слов А. С. Воронова, бывшего воспитателем и опекуном Комиссарова. А. В. Никитенко „Записки и Дневник“. СПБ. 1905. т. II, стр. 331 и 332.

[2]) С. С. Татищев. „Имп. Александр II, его жизнь и царствование“. СПБ. 1903, т. II.

[3]) Приложение к „Голосу“ 12 апр. 1866 г.

тиевато-напыщенный стиль придан всему торжеству. С утра до ночи Иосифа Иоанновича волокут по банкетам, где Иосиф Иоаннович сидит между двух генералов, слушает приветственные речи, мигает белобрысыми ресницами, страшно потеет, пьет, а потом встает и канителит:

— Я, значит, чувствую . . . потому как истинный сын отечества . . . чувствительнейше вас благодарю [1]).

Так в этой удушливой пошлости все глубже тонет простая, наивная радость, сказавшаяся в первые дни. Иосифа Иоанновича облекают в монументальный сюртук, ему нанимают кучеров и лакеев, ему дарят многоэтажный дом, его портрет выставляют на улицах рядом с портретом царя, его жена с утра до ночи бродит по Гостиному Двору, с азартом закупая шелка и брильянты и всюду рекомендуется „женою спасителя", к великому смущению купцов, которые пытаются уверить ее, что Спаситель был холостой. Почему-то арестанты и здесь проявляют особенный пыл: чуть не из каждого города они присылают ему по иконе. Костромские помещики дарят ему роскошные поместья, кто 300 десятин, кто 700. Монетный двор подносит ему золотую медаль с изображением его плюгавой физиономии; московские дворяне подносят ему золотую шпагу, тульские рабочие—ружье собственного изделья; французский император награждает его орденом Почетного Легиона [2]), петербургский сапожник Ситнов объявляет в газетах, что отныне в знак признательности за его патриотический подвиг будет бесплатно шить ему сапоги [3]). Публика валит в театры, чтобы только посмотреть на него, как он сидит рядом с царской ложей, завитой, веснущатый, испуганный, с серьгою в ухе, в странном сюртуке, и тут же его жена в аляповатом, мучительно-бесвкусном кокошнике [4]).

Именно с этих комиссаровских дней началось то роковое, всерастущее, неудержимое опошление эстетики самодержавного строя, которое пророчески свидетельствовало о его неизбежном банкротстве.

Через неделю все восторги становятся окончательной ложью и моветонной казенщиной. Люди ликуют с натугой, с оглядкой.

[1]) „Былое", 1906, апр., стр. 295.

[2]) Кажется, это был неосновательный слух, но газеты многократно сообщали его.

[3]) „Рус. Инв." 1866. № 95.

[4]) К. Скальковский. „В театральном мире". СПБ. 1899. Стр. XII – XIII.

всячески разжигая себя, и, хотя большинство уже знает, что этот напомаженный Сусанин и не думал спасать царя, адресы, банкеты и речи продолжаются прежним порядком, потому что всех охватила ни с чем не сравнимая паника.

Вскоре те, которых теперь назвали бы интеллигентами, поняли, что им не будет пощады, что и правительство, и так называемые тёмные массы смотрят на них, как на моральных соучастников цареубийцы, хотя на самом деле никто из них не понимал и не хотел этого выстрела, ибо в то базаровское время, в шестидесятые годы, идеология терроризма еще не проникла в умы. Всякий носивший синие очки или длинные волосы, выписывавший журнал „Современник“ и читавший роман „Что делать“, чувствовал себя вне закона и в величайшем испуге ожидал какой-то чудовищно-грозной расправы, и торопился застраховать себя от всех подозрений преувеличенными криками ура. Всякий некричавший ура считался чуть не государственным преступником, поляком, сообщником той „шайки подпольных злодеев, которые в безумном ослеплении посягнули на священную Особу Царя“. „Всевозможные чуйки словно затем и носили по городу портрет Комиссарова, чтобы ловить неснимающих шапку и наносить им побои [1]). Купцы устраивали на базарных помостах молебны, потчуя народ бесплатной водкой и задирая каждого, кто казался им не слишком ликующим. Вообще, по мере того, как патриотизм одних принимал все более мстительный и наглый характер, патриотизм других становился робким и заискивающим. Эти другие ждали каких то сверх'естественных кар. Герцен, например, был убежден, что правительство „будет косить направо и налево, косить прежде всего своих врагов, косить освобождающееся слово, косить независимую мысль, косить головы, гордо смотрящие вперед, косить народ, которому теперь льстят, и все это под осенением знамени, возвещающего, что они спасают царя, что они мстят за него“ [2]). Эта месть надвигалась, и многодневное ожидание этой мести буквально лишало рассудка самых трезвых и бестрепетных людей. Особенно волновались писатели, сотрудники радикальных журналов, так как чувствовали, что все на них смотрят, как на явных подстрекателей к цареубийству. Аресты и обыски шли беспрерывно. Говорили, что со всех концов России прибывают целые вагоны арестованных,

---

[1]) „Белый террор“; „Рус. Вед.“; 1909. № 8.
[2]) „Колокол“, 1866. № 220.

что для них не хватает тюрем, что на допросах к ним применяется пытка. Сотрудник „Современника“ З. Г. Елисеев, человек пожилой и спокойный, с ужасом впоследствии рассказывал, как двадцать пять суток подряд он находился в ежечасном ожидании обыска. Его нервное состояние дошло до того, что он ничего не мог делать, ни о чем не мог думать. „Каждый день и почти всегда утром приносили известие: сегодня почью взяли такого-то и такого-то литератора, на другое утро взяли опять таких-то и таких-то. Мало по малу чуть не половина известных мне литераторов была взята . . . Всеми этими слухами, беспрестанно возраставшим тревожным состоянием, бессонными ночами я был до того энервирован, так близок был к полной прострации, что подумывал сам итти просить, чтобы меня заключили в крепость“. Елисеев и сам называет свои тогдашние чувства постыдною трусостью, но утверждает в свое оправдание, что среди близких ему литераторов не было тогда ни одного, который не проявил бы такой же трусливости. Вспоминая эту панику, Щедрин писал через несколько лет: „Петербург погибал. Надо было видеть, какие люди встали тогда из могил. Надо было слышать, что тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось. Если вы имели с вашим соседом процесс, если вы дали взаймы денег и имели неосторожность напомнить об этом, если вы имели несчастье доказать дураку, что он дурак, подлецу – что он подлец, взяточнику — что он взяточник; если вы отняли у плута случай сплутовать; если вы вырвали из когтей хищника добычу – это просто напросто обозначало, что вы сами вырыли у себя под ногами бездну. Вы припоминали об этих ваших преступлениях и с ужасом ожидали“ . . . „Провинция колыхалась и извергала из себя целые легионы чудовищ ябеды и клеветы“ . . . „Отовсюду устремлялись стада „благонамеренных“, чтобы выместить накипевшие в сердцах обиды. Они рыскали по стогнам, становились на распутьях и вопили. Обвинялся всякий от коллежского регистратора до тайного советника включительно . . . „Исчезнуть, провалиться сквозь землю – вот лучший удел, которого мог ожидать человек“ [1]). Этот всеобщий испуг дошел до невероятных размеров, когда стало известно, что во главе следственной комиссии поставлен самый страшный в России человек,

[1]) Сочинения М. Е. Салтыкова (Н. Щедрина), т. IV. Изд. автора. СПБ. 1889. „Господа Ташкентцы“, стр. 53—55. Вообще весь очерк „Они же“ посвящен прикровенному изображению Каракозовских дней.

Муравьев. Если Муравьев,—значит кончено; значит, пощады не будет. Этот никого не помилует. Все были уверены, что Муравьев, только что распластавший Жмудь, сжигавший мызы, сравнивающий с землею деревни, разорявший костелы, сославший целые семейства в Сибирь, так помпезно и празднично вешавший польских ксендзов, в один миг испепелит либералов. Это было безумно, но так верили все, верили, что этот ужасный диктатор может и хочет затопить потоками крови все тогдашние зачатки свободы. Если бы Муравьев поставил на Марсовом поле плаху и стал рубить каждому прохожему голову, это показалось бы в порядке вещей. Ждали каких-то фантастических, неслыханных, еще небывалых кар. Каждому либералу казалось, что на него уже накинута муравьевская петля. „Мы", — предсказывал Герцен,—„пройдем страшнейшей бироновско-аракчеевской эпохой, мы пройдем застеночным ханжеством новых Магницких, мы пройдем всеми ужасами светского инквизиторства Николаевского времени". И действительно, первые же шаги Муравьева показали весь размах его мстительной ярости: под его сокрушительным натиском пали и князь В. А. Долгоруков, приятель царя, шеф жандармов, и светлейший князь Суворов, петербургский генерал-губернатор, и либерал конституционалист А. В. Головнин, министр народного просвещения,—словом, почти вся антимуравьевская придворная партия, все некогда могучие враги муравьевского дела в Польше. Ежели он так расшвырял этих князей и министров, что же он сделает с нами? — в ужасе спрашивал себя рядовой радикал, и ему мерещились дыбы, бичи, топоры. Это был массовый психоз, эпидемия испуга, охватившая всех без из'ятия. Что же странного, что ей поддался и Некрасов? Ведь на то это и паника, чтобы захватывать всех. Некрасов был у всех на виду, он был признанный вождь радикалов, самая крупная фигура в их лагере, и первое имя, которое всем приходило на ум, когда говорили о неизбежной расправе, было имя Некрасова. „Что Некрасов? Что будет с Некрасовым? Что сделают с Некрасовым?" Если даже подписчики его „Современника", и те считались неблагонадежными, как же должны были смотреть на него? Если даже те, у кого находили портрет Чернышевского, навлекали на себя подозрения, что же будет ему, другу и единомышленнику Чернышевского? Он коновод всему, он в этом деле главный, он давнишний разжигатель молодежи. „Московские Ведомости" прямо указывали Муравьеву на его „Современник". Мудрено ли, что он испугался? Разве был тогда хоть один—неис-

пугавшийся? Мы только-что видели, как Елисеев продрожал 25 суток подряд,—день и ночь,—и тоже пытался спастись путем патриотических восторгов. Этот испытанный старый радикал составил вместе с другими писателями верноподданический адрес царю, выражая в униженных и льстивых словах благодарность всевышнему Промыслу, спасшему для России царя. Впоследствии Елисеев рассказывал, что, составляя этот адрес, он был „как во сне", что все чувства его были парализованы страхом, что он не помнит ни единого слова из этого адреса, но все же он этот адрес составил, все же он вступил на этот путь самозащиты, и кто из переживших тогдашнюю панику посмеет порицать его за это? Не забудем, что Катков уже давно третировал всех, кто отказывался поднести Муравьеву икону Михаила Архангела, как изменников и врагов государства [1]). Так что Некрасов виновен лишь в том, что он пошел по общему течению. В его бумагах нами найден такой стихотворный набросок, относящийся к этим событиям:

В эти злые преступленья
Все замешаны гуртом,
Кроме подлости, спасенья
Мы не чаяли ни в чем [2]).

Именно г у р т о м, именно в с е, а не он один, в с е г у р т о м почитались преступниками, в с е г у р т о м чаяли спасения только в подлости. И раньше:

Бремя гнусного бесславья,
Поголовного стыда,
Бездну нашего бесправья
Мы измерили тогда.

Он говорит м ы, а не *я*, потому что это было наше бесправье, н а ш стыд, а не его одного. Он говорит о п о г о л о в н о м с т ы д е, потому что к этому стыду и бесправью приобщились решительно все.

Конечно, повторяю, многие искренне радовались спасению царя, ибо террористические акты были тогда еще внове, и, хотя царь

[1]) „Рус. Бог". 1912. IV, стр. 211.

[2]) Вариант: „Словно в злые преступления"... См. Собр. стих. Некрасова. СПБ. 1920. стр. 552. В этом изд. ошибочно поставлена дата. Нужно 1867 По всей вероят., отрыв. из „Медвежьей Охоты".

уже терял популярность, но самая мысль о его насильственной смерти большинству казалась безобразной. И тем не менее формы, в которые вылилась общая радость, были постыдно лицемерны и фальшивы, так как их создал испуг, и, когда мы читаем, например, в тогдашних „С.-Петербурских Ведомостях“ несколько дней подряд печатаемые на первой странице крупнейшими литерами коллективные заявления русских писателей, что они, как и все верноподанные, просят позволить им выразить Государю Императору свою беспредельную радость, когда в числе этих радующихся мы находим редакцию обличительной „Искры“, редакцию писаревского „Русского Слова“, мы понимаем, что эта беспредельная радость—паническая, что здесь тот же самый испуг, который через несколько дней погнал Некрасова на обеденное чествование Вешателя. Многие другие писатели только потому и уберегли репутацию, что не были подобно Некрасову членами Английского клуба и не имели возможности лицом к лицу встретиться с диктатором Польши,—кто знает, какие оды сказали бы они ему тогда? Ведь ни один Елисеев, а все они были тогда „как во сне“, т. е. вполне безответственны, почти невменяемы, все они, по выражению Некрасова, „не чаяли спасения ни в чем, кроме подлости“.

Не забудем также, что какому нибудь Линяеву или Минаеву почти нечего было терять. Это были однодневки, без прошлого, без будущего, порхающие из журнала в журнал, сегодня здесь, завтра там, распивочно и навынос торгующие либеральной дешевкой, а у Некрасова на карте было все, у Некрасова был „Современник“, который он создал с такой почти нечеловеческой энергией, с которым он сросся, которому уже двадцать лет из месяца в месяца отдавал столько душевных сил. И вот все это гибнет; мудрено ли, что Некрасов с необычайной поспешностью бросился по той же дороге, по которой, в сущности, шли уже все, за исключением горсти фанатиков, героев и мучеников.

Из имеющихся у нас неизданных метериалов мы знаем, что он на следующий же день после выстрела кинулся ко всем самым влиятельным лицам—и между прочим к зятю Муравьева, егермейстеру Сергею Шереметеву, с которым был знаком по охоте, и к другу царя, министру двора Адлербергу, с которым был знаком по карточной игре, и к Феофилу Толстому, и к Григорию Александровичу Строганову, шталмейстеру, почетному опекуну, мужу великой княгини Марии Николаевны, которого почти ежедневно встречал в Английском клубе, где Строганов был старшиной. Изо

всех разговоров он понял, что гроза неминуема, и что для ее отвращения нужны какие то чрезвычайные меры. На следующий день он явился на экстренное заседание Литературного Фонда и вместе с Анненковым, Стасюлевичем, Кавелиным и Гротом подписал всеподданнейший адрес царю, выражая свою „глубокую скорбь о неслыханном в России преступлении“ и в то же время „беспредельную радость о сохранении горячо любимого Монарха“.

Это никого не удивило. Это было в порядке вещей. К тому же Некрасов, действительно, люби.. Александра II, если не тогда, то лет десять назад.

Но этого ему было мало. Заявив свои верноподданнические чувства царю, он поспешил почтить и Комиссарова. Случилось как нарочно так, что тот же Английский клуб затеял дать в честь нового дворянина обед; когда Строганов, устроитель обеда, озабоченный подысканием застольных ораторов, предложил Некрасову за два дня до того заготовить стихотворный экспромт и прочитать Комиссарову, Некрасов сказал, что попробует. Он и прежде не раз сочинял официальные застольные спичи для Английского клуба[1]). За нескольких лет до того им был изготовлен, по просьбе какого то члена, благодарственный адрес „господам старшинам“, который и был прочитан за третьим блюдом на торжественном обеде. Адрес имел успех. Обед в честь Комиссарова состоялся 9 апреля в субботу, на пятый день после выстрела. Присутствовало триста тридцать человек. Никого не удивило, когда после речи генерал-майора Менькова встал Некрасов и своим сиплым, еле слышным голосом сказал стишки в честь царя и Комиссарова. Стишки славили самодержавие, православие, народность и заканчивались такой религиозно-мистической фразой, неожиданной в устах Некрасова:

Сын народа! Тебя я пою!
Будешь славен ты много и много.
Ты велик, как орудие Бога,
Направлявшего руку твою.

Впоследствии к этой фразе весьма придирались, но дело в том, что Некрасов не выдумывал этого религиозного образа. Этот образ был ему подсказан извне. Уже на третий день после выстрела во всех газетах, разговорах и стихах замелькало это выражение: „Ко-

[1]) „Соврем.“ 1860, V.

миссаров—орудие Бога". „Орудие Бога"—стало как бы чином Комиссарова, его официальным званием. Дело дошло до того, что даже жена Комиссарова стала звать его „орудием Бога".

По словам „Московских Ведомостей" она так и сказала одной барыне:

— Осип был орудием Божьей воли [1]).

В первой же строке князя Вяземского в стихах, посвященных Комиссарову, говорится о том же орудии:

Святого Промысла смиренное орудье,
Народную скрижаль собой ты озарил,
И благодать свою, и мощь, и правосудье
В тебе неведомом Господь провозгласил.

В одной из московских листовок, посвященной Комиссарову и отпечатанной в типографии Грачева, читаем:

— Единый от малых сил сподобился соделаться орудием Бога Живаго[2] .

В передовице „СПБ. Ведомостей" говорится:

— Комиссарову „суждено было сделаться орудием сохранения для России Августейшего Монарха"[3]).

На обеде благородного собрания некто Анненков сказал в своей речи:

— В Комиссарове русский народ видит избранника и орудие Бога.

Таким образом мы видим, что слово орудие стало постоянным эпитетом Комиссарова. Подобно тому, как эпическая сабля всегда и во всех случаях острая, а Владимир — всегда Красно-Солнышко, так и Комиссаров—в апреле 1866 года—неизменно был „Божьим орудием". Выдавались такие дни, когда в одной и той же газете его по нескольку раз именовали орудием. Например, в „Русском Инвалиде" от 5 апреля в одной статье напечатано:

— Мы обязаны указать на того человека, которому выпала завидная доля быть орудием Провидения...

В другой статье в том же номере:

— „Господь через свое скромное орудие"...

---

[1]) „Московск. Вед." 20 апр. 1866.

[2]) „Осип Иванович Комиссаров Костромской, спаситель Государя Императора". М. 1886, тип. Грачева. (Великолепное изд. с портретом четы Комиссаровых, стих. Некрасова, Вяземского и Майкова).

[3]) „СПБ. Вед." 6 апр. 1866.

Так что, когда Некрасов сказал:

Ты велик, как орудие Бога,
Направлявшего руку твою.

Он сказал общепринятую, очень, затертую фразу, почти обязательную в те времена. Если бы он не сказал ее, он не исполнил бы какого то установившегося ритуала, строго требуемого тогдашними о ычаями.

Замечательно, что и другая часть его поэтической мысли: „Бог, направляющий руку крестьянина для спасения царя"—оказывается тоже заимствованной из обихода официальных речей и стихов; оказывается, что даже слово р у к а как-бы предписывалось официальным уставом.

Благословенно будь мгновенье,
Когда Всевышнего **рука**
Остановила преступленье
Рукой смиренной мужика!

писал один пиита в „Инвалиде" [1]). А другой в „Северной Почте" слово в слово:

Но вот Всевышнего **рукой**
Рука простого селянина
Спасает Русского Царя [2]).

Таким образом Некрасов и здесь не творил своего; взяв готовое общее место, он механически использовал его:

Ты велик, как орудие Бога,
Направлявшего **руку** твою.

Так как в ту пору только это и требовалось, стихи имели успех. Они были напечатаны в газетах, оттиснуты на особой листовке. Даже Герцен отнесся к ним снисходительно и не видел в них ничего криминального.

До сих пор все было хорошо. Некрасов делал то же, что делали все. Все подписывали адрес царю, подписал и он. Все писали сти-

[1]) „Рус. Инв." 1866. 5 апр.
[2] „Сев. Почта" 1866. 5 апр.

хи Комиссарову, написал и он, даже теми самыми словами, какими писали все.

V.

Но паника росла. Эта неделя между 9 и 16 была самая тревожная изо всех. „Ночью с 8 по 9 апреля начинается период поголовного хватания",—пишет автор „Белого террора".—Брали чиновников и офицеров, учителей и учеников, студентов, юнкеров, брали женщин и девочек, нянюшек и мамушек, мировых посредников и мужиков, князей и мещан,—брали, брали и брали по такой обширной программе, что никто и нигде не чувствовал себя безопасным..." Следователи спрашивали девушек: скольких вы имели мужей? — а Муравьев угрожал, что он выдаст им желтый билет. Все ждали от Муравьева каких то гениальных чудодейственных мер, которые магически сокрушат радикалов. Что это за меры, никто не знал, но свято верили, что Муравьев их знает и применит с молниеносной внезапностью; оттого то, когда впоследствии выяснилось, что он не маг, а просто ретивый работник, который ни к каким чудесам не способен, что даже ему не дано сокрушить начинающуюся в России революцию, все его былые приверженцы, в том числе и Катков, тотчас охладели к нему. Но тогда еще верили в его чудотворную силу, и клуб решил в ближайшую же пятницу, 15 апреля, избрать его своим почетным членом, а в субботу 16 дать ему торжественный обед. (Избрание в почетные члены Английского клуба было редкостной исторической почестью, оказываемой лишь немногим — Кутузову после двенадцатого года, Паскевичу-Эриванскому, Ермолову, а также Аракчееву и Бенкендорфу). Накануне этого события, в четверг, в один из самых панических дней, Некрасов получил такую записку, которая до сих пор еще не приводилась в печати:

„14 апреля 1866.

„Мужайтесь, драгоценный Николай Алексеевич. Я только что узнал из вернейших источников, что участь С. (т. е. „Современника". К. Ч.) решена, и спешу поделиться с вами этой печальной новостию. Вчера я проработал весь день, защищая Вас в К., но не успел, хотя Ваши истинно-патриотические стихи произвели впечатление своею искренностию и задушевностию. Заезжайте ко мне, если можно, сейчас, но еще раз прошу Вас, не говорите об этом никому, особенно Г-ну С." (Салтыкову? К. Ч.).

Вместо подписи какая то кривулька, но в высшей степени своеобразный единственный почерк не оставляет сомнения, что записка принадлежит Теофилу Толстому, известному взяточнику, эстету и цензору, человеку вздорному и гаденькому, имевшему большие связи при дворе и цензуре [1]). Мы нашли эту записку среди целой кипы его до сих пор неизданных посланий к Некрасову, то заискивающих, то укоризненных—и не могли не пожалеть поэта, которому поневоле приходилось поддерживать связи с такими людьми.

Как бы то ни было, оказывается, что уже за два дня до прочтения оды Некрасов был осведомлен об участи, грозящей его „Современнику". Эти известие не обескуражило, а напротив, окрылило его. В записке Феофила Толстого было сказано, что патриотические стихи Комиссарову произвели хорошее впечатление в официальных кругах, и это давало надежду, что если за этими патриотическими стихами последуют другие такие же, власти может быть и вовсе смягчатся. Когда то, лет десять назад, Некрасову уже случилось использовать таким же образом патриотические стихи, и это принесло ему выгоду. Тотчас же после того, как в его поэме „Тишина" появились хвалебные стихи об Александре II, цензура разрешила ему напечатать второе издание его сочинений. „Из этого ты видишь, что благонамеренность всегда пожнет плоды свои", шутя писал он в то время Тургеневу [2]). На это же понадеялся он и теперь. Когда старшина клуба граф Г. А. Строганов предложил ему приготовить стихи для обеда в честь Муравьева, он с жаром ухватился за это; к тому же, как сообщал он впоследствии, Строганов и другие члены Английского клуба говорили ему, что Катков уже утратил былое влияние на графа, что того уже не удовлетворяет газета Каткова „Московские Ведомости" и что, кто знает? может быть стихи от Некрасова подействуют на него и укротят его. Надежда была фантастическая, но ведь все было тогда фанастическое. Никто ничего не знал. Не знали, чего бояться, на что надеяться. Впоследствии слухи о размолвке Муравьева с Катковым оказались почти справедливыми, но, конечно, не могло быть и речи о замене Каткова Некрасовым. Между тем у Некрасова уже не было выбора. Если бы он отказался от чтения стихов Муравьеву, это было бы сочтено демонстрацией: присутствовать

[1]) Этот Феофил Толстой был человек очень пакостливый и впоследствии, мстя Некрасову за ненапечатание одной его рукописи, причинял ему большие неприятности.

[2]) А. Н. Пыпин. „Н. А. Некрасов". СПБ. 1905.

на этом обеде и не сказать приветственного слова значило публично заявить свое несочувствие Муравьевскому делу, открыто причислить себя к моральным соучастникам цареубийцы, тогда как на самом деле такого соучастия не было. Словом, все требовали от него этой оды, толкали его к ее написанию, и он был прав, когда указывал „остервенелой толпе", что она так же виновна, как и он, что его преступление не личное, а гуртовое, совершенное не им одним, а всеми. Конечно, и в этой толпе были герои, предпочитавшие умереть лишь бы не подчиниться террору, но это были исключения, к которым поэт не принадлежал никогда. Он был, кажется, единственный из русских радикальных писателей, который ничем никогда не страдал за свои убеждения: ни разу не был заточен или сослан, ни разу у него не было обыска, и вообще к самопожертвованию, хотя бы даже к отречению от комфорта, он не был способен, за что и упрекал себя не раз. Гордо отвергая суд толпы, он сам осудил себя беспощадным судом, до могилы не переставал казниться и каяться. Если в его поступке была какая нибудь доля вины (а некоторая доля, конечно, была), та беспримерная казнь, которой он столько раз подвергал себя при одном воспоминании об этой вине, искупила бы и не такую вину.

Казниться и каяться было его постоянной потребностью: у него был особый талант к покаянию; недаром покаянные стихи так удавались ему. Весь этот эпизод с Муравьевым словно для того и случился, чтобы у Некрасова до конца жизни было в чем каяться, за что обвинять себя, чем себя мучить. Отрицая свою вину перед „остервенелой толпой", он чувствовал себя виновным—пред родиной:

Прости меня, о родина, прости!

восклицал он в 1867 году, и снова в 1874 году:

Прости меня, страна моя родная,
Бесплоден труд, напрасен голос мой.
И вижу я, поверженный в смятенье,
В случайности несчастной—преступленье,
Предательство—в ошибке роковой.

Одна мысль об этой „роковой ошибке" вызывала у него бессонные ночи. 24 июля 1867 года, написав свою гордую отповедь „остервенелой толпе", он снабдил ее таким примечанием: „Это написано в минуту воспоминания о мадригале. Хорошую ночь я провел".

Не раз он пытался об'яснить свой поступок, и в этих об'яснениях был часто столь же беспощаден к себе [1]).

„Я с детства трус“,—писал он, например, в стихотворении „Суд“.—„Я рос в дому, напоминающем тюрьму“.—„Горе в том, что я не мог не сознавать, что не родился храбрецом“.

В об'яснение трусости, проявленной им в Муравьевские дни, он между прочим ссылался на свое моральное одиночество, на отсутствие идейных более сильных друзей, которые могли бы уберечь его от неверного шага:

Не торговал я лирой, но, бывало,
Когда грозил неумолимый рок,
У лиры звук неверный исторгала
Моя рука... Давно я одинок;
Вначале шел я с дружною семьею,
Но где они, друзья мои, теперь?
Одни давно расстались со мною, [2])
Перед другими сам я запер дверь,
Те жребием постигнуты жестоким, [3])
А те прешли уже земной предел... [4]).
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов все больше на пути—
За каплю крови общую с народом
Прости меня, о родина! прости!..

Трудно поверить, но эти страстные строки были встречены новым глумлением. Журнал „Космос“ доказывал, что так как Некрасов извлекал неверные звуки не по неведению, не по ошибке, а для приобретения жизненных благ, то это и значило, что он торговал своей лирой. Статья „Космоса“ обрадовала Герцена, который писал Тургеневу: „Видел ты, как „Космос“ начинает заголять Некрасову спину, чтоб пороть за воровство и мошенничество?“ [5]). Бывшие товарищи Некрасова по „Современнику“, экономист Ю. Г. Жуков-

[1]) Из поэмы „Суд“ Собр. стих. Некрасова. 1920, стр. 553.
[2]) Герцен, Огарев, Тургенев.
[3]) Сосланы в Сибирь: Михайлов, Чернышевский.
[4]) Скончались: Белинский, Добролюбов.
[5]) „Соврем.“ 1913, IX, стр. 23.

ский и критик М. А. Антонович, редакторы „Космоса“, напечатали в 1869 году злую брошюру („Материалы для характеристики современной русской литературы“), полную темных намеков на эту муравьевскую оду [1]).

В этой брошюре поэта прямо называли ренегатом. Брошюра была ничтожна, но она вызвала многочисленные толки в печати, и странно было видеть, как мучительно подействовала она на Некрасова. „Он прямо таки заболел“, — вспоминает Михайловский, — „и как теперь вижу его вдруг осунувшуюся, точно постаревшую фигуру в халате. Но самое поразительное состояло в том, что он, как то странно заикаясь и запинаясь, пробовал что то об'яснить, что то возразить на обвинения брошюры и не мог; не то он признавал справедливость обвинений и каялся, не то имел многое возразить, но по закоренелой привычке таить все в себе не умел“.

В этом сказывалась такая душевная боль, что Михайловскому было стыдно присутствовать при этом самоистязании; хотелось уйти. До самой смерти Некрасов любил заводить такие покаянные речи. Встретив Михайловского в Кисингене, он как-то за кофеем начал снова „не то оправдываться, не то казнить себя“. Это была „затрудненная, смущенная, сбивчивая речь человека, который хочет сказать очень много, но не может“.

А когда Некрасов заболел, мысль о Муравьеве стала его неотвязчивой мыслью. „Жутко и страшно было слушать эти обрывистые затрудненные откровенные речи“... „перемежаемые еще вдобавок стонами и криками“.

И сестре, и Пыпину, и Салтыкову, и Елисееву он, умирая, по многу раз об'яснял свою оду. Об'яснять эту оду стало его постоянной потребностью. Муравьев преследовал его до самой могилы. Елисеев записал в своих воспоминаниях, что если „при его нестерпимых болях физических... для него так же нестерпимы страдания нравственные, то это происходит от того, что он преувеличивает значение некоторых проступков, совершенных им в жизни, проступков, до того малозначащих, что при том уровне нравственности, который существует в обществе, еще остается вопрос: действительно-ли это проступки, но которые до того раздуты людскою злобою и клеветою, что больной, находясь втечение двух почти лет в постоянной утомительной борьбе с болезнью, истерзанный

[1]) „Материалы для характеристики современной русской литературы“. I. Литературное об'яснение с Некрасовым М. А. Антоновича. II. Post scriptum Ю. Г. Жуковского. СПБ. 1869, стр. 99 и 100.

ею, потерял всякое равновесие сил... и впал в малодушие, в боязнь, что эти проступки покроют позором его могилу“ [1]).

Особенно мучительным казалось ему, что та идейная связь, которая, явно для всех, существовала у него с Белинским и Добролюбовым, теперь непоправимо нарушена. Сейчас же после прочтения Муравьеву оды он обратился к Белинскому и покойной матери с такими стихами:

И вы, и вы отпрянули в смущеньи,
Стоявшие бессменно надо мной,
Великие страдальческие тени,
О чьей судьбе так горько я рыдал,
На чьих гробах я преклонял колени
И клятвы мести грозно повторял.

Впоследствии ему чудилось, что портреты, висевшие у него в комнате, смотрят на него „укоризненно“. Даже те его предсмертные стихи, где он твердит, что родина простила его, показывают, как неотступно мучила его эта мысль о грехе и расплате. В стихотворении „Баюшки Баю“, написанном незадолго до смерти, его мать говорит ему:

Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей.

Но эта уверенность в будущем прощении исчезала при первом припадке болезни. По словам Елисеева, надежда на прощение возникала в нем лишь в светлые минуты, когда его физические муки утихали. С возобновлением же физических мук возобновлялись и припадки отчаяния:

Родина милая, сына лежачего
Благослови, а не бей!

Замечательно, что, подыскивая всякие смягчающие его вину обстоятельства, он никогда не отрицал самой вины. „Пускай я много виноват“—это чувство было у него постоянно. Не о справедливости он молил, а только о жалости. Как удивился бы этот мученик гипертрофированной совести, если бы узнал, что в ответ на его покаянные вопли, — родина тысячами голосов

[1]) „Русские Зап.“ 1916, I. стр. 59.

единодушно скажет ему: „нас прости... свою родину прости—эту родину, грехами которой ты сам заразился и для просветления которой сделал так много".

„Твои вины" давно она простила
За то, что ты любить ее умел,
За то, что ты с такою чудной силой
Ее страдания воспел [1]).

Таково было общее чувство, высказанное во множестве стихов и статей тотчас же после смерти Некрасова. При погребении поэта священник высказал общую мысль присутствующих, когда сказал с церковного амвона:

— Ты просишь прощения и любви, твои страдания искупят тебя; твоя любовь к другим покрывает тебя... [2]).

Все единодушно решили простить ему его прегрешения и, напр., Полонский, в письмах которого рассеяно не мало язвительных отзывов о лицемерии Некрасова, напечатал еще за год до его смерти следующую апологию поэта:

С своим поникнувшим челом
Над рифмой – он глядел бойцом, а не рабом.
И верил я ему тогда,
Как вещему певцу страданий и труда.
Теперь пускай кричит молва,
Что это были все слова,—слова,—слова,—
Что он лишь тешился порой
Литературною игрою козырной,
Что с юных лет его грызет
То зависть жгучая, то ледяной расчет.
Пред запоздалою молвой
Как вы, я не склонюсь послушной головой.
Ей нипочем сказать уму:
За то, что ты светил, ступай скорей во тьму...
Молва и слава—два врага;
Молва—мне не судья, и я ей не слуга [3]).

Русское общество простило Некрасова.

[1]) Неделя. 1877 № 5.
[2]) В. Максимов. „Литер. дебюты Некрасова". СПБ. 1908. стр. 115.
[3]) Полное собр. стих. Я. П. Полонского. СПБ. 1896, стр. 71—72.

VI.

Но простить не значит оправдать.

Русское общество великодушно простило Некрасова и тем самым признало, что было за что прощать. Все так и говорили: „забудем о его прегрешениях“, „какое нам дело до его прегрешений“, —и это делало честь говорившим, но имело в себе что-то оскорбительное. Неужели Некрасов и вправду нуждался в такой амнистии русского общества?

Он и сам, как об особой милости, просил не всматриваться в его биографию, а судить о нем лишь по его стихам.

Как человека забудь меня частного,
Но как поэта суди!

Он, значит, и сам признавал, что было в его жизни что-то такое, что лучше всего не показывать людям, какой-то нехороший секрет, в который ежели бы вздумали вникнуть, непременно осудили бы его. Он, как уже сказано выше, никогда не требовал себе оправдания, но робко молил о пощаде, надеясь, как он говорил, на „снисходительность человеческих сердец“. И сердца оказались снисходительны: они простили его, как бы даже щеголяя своей снисходительностью. „Мы знаем, что ты падший, но прощаем“. И замечательно, что Некрасова это не оскорбляло. На бо́льшее он не надеялся. Он чувствовал в своей жизни какую-то такую неправду, которую можно забыть, но оправдать невозможно.

В чем же она заключалась? Попробуем без всякого жеманства, без лицемерных умолчаний, ничего не скрывая, исследовать самые темные стороны его биографии; выслушаем и, по возможности, проверим все направленные против него обвинения и вынесем тот или иной приговор.

Настало время суда над Некрасовым, ибо только суд прекратит недомолвки и слухи, чудовищно порочащие его репутацию. Свидетельских показаний накопилось огромное множество, пора подвергнуть их самой внимательной критике, отделить клевету от правды.

Забудем о Муравьевском деле—и посмотрим, что за человек был Некрасов, в чем обвиняли его.

Первое обвинение, которое предъявлялось к нему чаще всего —это то, что он был литературный барышник, гостинодворец, торгаш. Тургенев обвинял его в том, что он купил у него томик

„Записок охотника“ за 1000 р. и тотчас же перепродал их другому издателю за 2500 р.—то-есть получил барыша полторы тысячи рублей [1]). Достоевский еще в 1845 году писал своему брату без всякого, впрочем, осуждения: „Некрасов аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать. Он так с тем и родился“ [2]).

„Некрасову хоть битым стеклом торговать“, выразился в ту же пору Краевский, когда узнал, что юноша Некрасов скупил у издателя экземпляры сочинений Гоголя и перепродал их с большим барышом.

В кружке Белинского на эти наклонности молодого поэта многие смотрели с сочувствием, так как видели здесь то „слияние с действительностью“, которое казалось им тем более ценным, что они сами были его лишены. Сам Белинский тосковал по практицизму и наивно писал одному из друзей:

— „Думаю пуститься в аферы. Некрасов на это золотой человек“ [3]).

Но ни Кавелину, ни Грановскому Некрасовские аферы не нравились. Кавелин до самой смерти твердил, что Некрасов литературный кулак, гостинодворец и вор—и даже с университетской кафедры обвинял его в том, что он присвоил себе чужое имение. Кроме того он печатно уличил его в ограблении больного Белинского; такое же обвинение было предъявлено Некрасову и Анненковым [4]).

Герцен тоже обвинял его в присвоении чужого имения. Имение это принадлежало другу Герцена, Огареву. Вся эта история уже была рассмотрена нами в другом месте, здесь мы ее не касаемся, напомним только, что после нее Герцен до конца дней своих звал Некрасова „гадким негодяем“, „стервятником“, „сукиным сыном“ „шуле́ром“.

И Тургенев, впрочем по другой причине, вторил негодующим возгласам Герцена:

— „Шора этого бесстыдного мазурика на лобное место“.

Так относились к Некрасову люди сороковых годов, те, с кем он выходил на литературное поприще. Многим до такой степени бросалась в глаза торгашеская сторона его личности, что они искренно изумлялись, когда знакомились с его произведениями:

---

[1]) Письмо Тургенева к Герцену от 22 июля 1857.

[2]) Полное Собр. Соч. Достоевского. СПБ. 1883. Письма, стр. 39.

[3]) Белинский. Письма, СПБ. 1914 т. III, стр. 125.

[4]) Д. К. Кавелин. Собран. Соч. СПБ. 1899 т. III, стр. 1087, 1092, 1094.

— Как такой человек мог писать такие стихи?

Грановский в 1853 году был весьма поражен, что этот, как он выразился, „мелкий торгаш“ может быть таким „глубоко и горько чувствующим поэтом“.

Не нужно думать, что, когда Некрасов порвал с людьми сороковых годов и сошелся с новыми людьми, шестидесятниками,—те взглянули на него другими глазами. Конечно, ни Добролюбов, ни Чернышевский не видели в нем торгаша, но другие, менее с ним связанные, иначе не звали его, как плантатором и кулаком. В литературной богеме шестидесятых,-семидесятых годов было давно установлено, что „Щедрин—генерал и сквалыга, а Некрасов первостатейный кулак, картежник и весь сгнил от разврата с француженками“ [1]).

— „Знайте, что все эти литературные генералы—пираты-рабовладельцы, Гонзалес Перейры и больше ничего“.

Конечно, этим возгласам нельзя придавать большое значение; мало ли чего не выкрикивали где-нибудь в трактире, в пьяном виде, Помяловский, Ник. Успенский и Левитов. Воспоминания Николая Успенского, где он повествует о том, как Некрасов наживался на его сочинениях, есть пьяная, угарная, чадная книжка, находящаяся вне литературы, но все же она свидетельствует, что взгляд на Некрасова, как на барышника, установленный в сороковых годах, утвердился и в новом поколении [2]). В письме к своей невесте молодой Глеб Успенский писал:

„И клянусь тебе, что... изувеченый ради барышей Некрасовых и Благосветловых я бы горько пил, если бы не ты“.

Словом, сверстники Добролюбова отнеслись к нему с таким же недоверием, как и прежде сверстники Белинского. Дело дошло до того, что однажды в середине шестидесятых годов сотрудники его „Современника“, не поверив его уверениям, что в кассе журнала нет денег, отправились на другой конец города в контору журнала проверять по конторским книгам, правду ли он говорит и не присвоил ли он этих денег [3]).

Если бы такую ревизию учинили не над знаменитым поэтом, учителем и вождем нескольких поколений, а над каким-нибудь бухгалтером, и то было бы недопустимым оскорблением. Но такова

[1]) „Гол. Минувш.“ 1908 I, стр. 88—89.
[2]) Н. В. Успенский. Из прошлого, М. 1889, стр. 11 и 125.
[3]) „Гол. Минувш.“ 1915. I, стр. 9 и 10; II, стр. 204—5.

была в те годы репутация Некрасова—даже в глазах его ближайших сотрудников, что никто не усмотрел в этой ревизии ничего необычного.

Хуже всего было то, что эта темная репутация Некрасова отпугивала от его стихов. Простодушному читателю было трудно увлечься стихами, автор которых торгаш. Многим поневоле казалось, что его стихи—сплошная ложь, рассчитанная для обмана глупцов.

Мне говорят: твой чудный голос—л о ж ь,
Прельщаешь ты притворною слезою,
И словом лишь толпу к добру влечешь,
А сам, как змей, смеешься над толпою

писал ему какой-то аноним. Но аноним только спрашивал, а Владимир Соловьев говорил утвердительно:

Восторг любви расчетливым о б м а н о м
И речью рабскою—живой язык богов,
Святыню муз—шумящим балаганом
Он заменил и обманул глупцов.

Ту же ложь ощущал в его стихах и Никитин:

Нищий духом и словом богатый
По наслышке о всем ты поешь
И постыдно похвал ждешь как платы
За свою всенародную л о ж ь.

Композитор Чайковский был такого же мнения [1]), композитор Юрий Арнольд видел в его стихах „умело под вкус вопрошающего сложенные изречения спекулянта-авгура“ [2]). Вообще многие были уверены,

Что он лишь тешился порой
Литературною игрою козырной,

что в поэзии он так же не чист, как и в жизни. Спекулирует свободой и братством,—говорил о нем стихотворец Минаев. Боткин был уверен, что все направление Некрасова есть дело „расчета спекуляции, скандала“. Лесков утверждал то же самое. „Счастливая карьера—потрафил по вкусу времени“,—отзывался о нем Лев Толстой.

---

[1]) Мод. Чайковский. „Жизнь П. И. Чайковского. II, 131.
[2]) Юрий Арнольд. „Воспоминания“ М. 1892 вып. II, стр. 191.

Словом, и в сороковых, и шестидесятых годах, и позднее в обществе держалось убеждение, что в стихах Некрасов—один, а на деле—другой. Стихи у него благородные, а он сам „необразованный, пошлый сердцем человек“,—писал о нем Грановский.—...„В нем много отталкивающего...“

Конечно, можно понять, почему Фет или Боткин стали в середине шестидесятых годов столь ярыми врагами Некрасова, почему, например, на погребении Дружинина Некрасов оказался под бойкотом всех своих прежних друзей, почему граф Алексей Толстой предупреждал свою жену, чтобы она избегала знакомства с Некрасовым,—здесь была партийная вражда.

Люди, сотрудничавшие в Некрасовском „Современнике“ сороковых и пятидесятых годов, покуда этот журнал был органом литературного дворянства, не могли не возненавидеть Некрасова, едва его „Современник“ сделался органом радикалов-разночинцев-нигилистов. Это понятно. Тут причина общественная. Личность Некрасова тут не при чем. Но во всех остальных нареканиях чувствуется неприязнь к нему самому, а не к его направлению. С юности было в нем что-то такое, что отталкивало от него даже непредубежденных людей. Белинский, защищая его, обмолвился такими словами: „его надо знать да знать, чтобы не принять за мерзость то, в чем никакой мерзости нет“. То-есть он лишь кажется мерзким, а на самом деле не мерзкий. Недоверие к его личности было такое, что Кавелин приписывал ему чужие статьи и необинуясь называл их подлыми. Если суммировать все обвинения, которые мы до сих пор приводили и множество других, подобных, то все они выразятся в одном слове: д в у л и ч и е. Все они говорят о том, что Некрасов не похож на свои стихи, что Некрасов-человек и Некрасов поэт это две совсем разные личности. В стихах он пишет о чердаках и подвалах, а сам живет в великолепном бель-этаже. В стихах призывает к революционной борьбе, а сам, как вельможа, раз'езжает в каретах, играет в карты с министрами, выигрывает тысячные куши.

„Поет о нужде крестьян, а сам довел своих бывших крепостных до того, что те приходили жаловаться на него к княгине Белосельской-Белозерской“—возмущался старик Гончаров, и хотя это была неправда, но она была правдоподобна, и все верили ей, ибо действительно чувствовали, что между стихами и делами Некрасова есть какая то непонятная пропасть. В стихах он проповедует жертвы и подвиги, а сам... такова была общая формула всех на-

правленных против него обвинений. Это а с а м преследовало его на каждом шагу. В стихах печалится о горе народном, а сам построил винокуренный завод!—это изумит хоть кого, этим возмущались и Левитов, и Полонский, и Авдеев, да и можно ли было не возмущаться таким двоедушием.

Поэт—и в то же время барышник. Поэт—и в то же время аферист. В стихах пролетарий, а на деле магнат. Зовет к героическим подвигам, а сам присваивает чужие имения! Недаром Пыпин выразился о нем: „двойной человек". „Перепутанная фигура", —писал о нем Анненков. „Загадочный человек" —говорил Достоевский. И Михайловский то же самое: „загадочный" [1]).

Вот, в сущности, единственное обвинение, выдвигаемое против Некрасова: загадочное двоедушие, двуличие, двойственность. И этой двойственности нельзя отрицать. Она подтверждается множеством фактов и, если вы отвергнете один, на его место явятся десятки. Эта двойственность сказывалась даже в самых тривиальных мелочах.

Идет, например, некто по Невскому и видит коляску, на запятках которой, остриями вверх, торчат гвозди. Назначение гвоздей—отпугивать мальчишек, которые захотели бы уцепиться сзади. Увидев гвозди, пешеход вспоминает, что у Некрасова в одной сатире сказано:

...не ставь за каретой гвоздей,
Чтоб, вскочив, накололся ребенок.

И вдруг, вглядевшись, замечает, к своему удивлению, что в коляске с гвоздями сидит ни кто иной, как сам Некрасов, что это коляска Некрасова, и что значит, сам Некрасов, с одной стороны, утыкал запятки гвоздями, а с другой стороны, гуманно пожалел тех детей, которые могут на эти гвозди наткнуться [2]).

Крошечный факт, но типичный. В стихах одно, а на деле другое. Пишет так, а поступает иначе. Действительно двойной человек. Сам делает и сам же обличает. Зачем же обличает, если делает? И добро бы, раз или два, а то систематически всю жизнь,

---

[1]) Пыпин в письме к Чернышевскому от 23 июня 1878. „Чернышевский в Сибири" III, 109; „М. Стасюлевич и его современники". СПБ. 1912, III. стр. 352; Полное Собр. Соч. Ф. М. Достоевского. СПБ. 1895, XI, стр. 418; Н. К. Михайловский „Литерат. воспоминания и соврем. смута". СПБ. 1900, т. I, стр. 41—85.

[2]) А. Фет. Мои воспоминания. М. 1890 т. I, 307.

на каждом шагу. Было, например, в Петербурге некоторое обжорное общество,—так называемый клуб гастрономов,—которое должно быть весьма возмутило Некрасова, заклеймившего его в сатире „Современники“; в сатире выведены голодные, замученные бурлаки, и рядом с ними кажутся особенно гадкими эти сытые твари, ведущие дебаты, по поводу каждой сосиски, тычащие градусник в стаканы с вином и ставящие с'едаемому поросенку отметки по пятибальной системе. Сатира произвела впечатление. Критика не преминула отметить, что „сатирик с ужасом смотрит на этот круг обжор“, что „эти полуживотныя подавляют его гнетущею думою“ [1]).

А через несколько лет выяснилось, что сам Некрасов принадлежал к этому „интимному кругу обжор“ и вместе с „полуживотными, подавляющими его гнетущею думою“, проделывал те самые поступки, которые вызывали в нем, по словам рецензента, „ужас“.

— „Бывал на этих обедах и Некрасов“,—читаем в воспоминаниях Михайловского.—„И не только сам бывал, но и других тащил, между прочим и меня, который, вероятно, по своему гастрономическому невежеству, не видел в этом учреждении ничего, кроме до уродливости странной формы разврата“ [2]).

С ужасом смотрит на странный разврат — и в то же время предается ему. Это ли не извращенное сердце? И если всмотреться в его биографию, окажется, что нет такой мелочи, где не сказалась бы эта черта. Вся его личность была как бы расколота надвое. С каким пафосом обличал он, например, медвежью охоту, мерзость которой заключалась, по его ощущению, в том, что „ликующие, праздно болтающие“ нахлынывали шумною ордою в деревню, вместе с поварами, лакеями, несессерами, сервизами бутылками, и помыкали голодными, больными крестьянами, сгоняя их, словно скот, на охоту, заставляя рыскать в жестокую стужу, чуть не по горло в снегу. Это казалось ему почти святотатством:

Бутылок строй, сервизы, несессеры,
И эти трехсаженные лакеи,
И повара в дурацких колпаках,
Вся эта роскошь нарушает нагло
Привычный ход убогой этой жизни
И бедности святыню оскорбляет [1]).

---

[1]) А. Голубев. „Николай Алексеевич Некрасов“ СПБ. 1878, стр. 109.
[2]) Полное Собр. Соч. Н. К. Михайловского, т. VII, СПБ. 1909. Стр. 76.

Но кто же не знает, что именно Некрасов любил выезжать на медвежью и лосиную охоту — с поварами, лакеями, сервизами и несессерами, в обществе князей и министров—сгоняя целые деревни на зверя.

В этой же пьесе о медвежьей охоте он очень бранит порнографические стихи Миши Лонгинова, хотя впоследствии стало известно, что он и сам любил посмаковать эти стихи, сам участвовал в их составлении и писал к тому же Мише Лонгинову порнографические послания в стихах [2]).

Воистину, двойной человек. Как удивился бы любой студент, любой семинарист, зачитывающийся „Современником“ Некрасова, если бы узнал, что Некрасов нередко ходит к врагам „Современника“ и всячески ругает „Современник“.

— „Сегодня был у меня Некрасов и просидел три часа“,—писал Боткин 20 марта 1865 года—„Дело в том, что его вонючая лавочка „Современника“ делается ему самому гадкою. Он слишком умен, чтобы не чувствовать ее омерзительности“.

Через год Боткин писал:

— „Некрасов начал похаживать ко мне и протестовать против гадких тенденций своего журнала“... [3]).

Это кажется почти невероятным: чтобы вождь и вдохновитель молодой демократии, в самую горячую пору борьбы, шел к своему идейному врагу, сторонникy Каткова и Леонтьева, и протестовал против своего же журнала, против себя самого, против тех идей и идеалов, которые он сам исповедует, а между тем, это действительно так. И разве в эпизоде с Муравьевым не выразилась та же черта, только еще более демонстративно и открыто?

VII.

Но значит ли это, что он был двуличный?

Двойной, но не двуличный. Двуликий, но не двуличный. И не потому он был двойной человек, что он был лицемер, иезуит, тартюф, а потому, что с самой его юности его общественное положение было двойное. Таким сформировала его жизнь. Он был, так сказать,

---

[1]) „Неизданные произвед. Н. А. Некрасова“. СПБ. 1918, стр. 57—69.

[2]) „Архив села Карабихи“. М. 1917, стр. 124; у нас имеется рукопись одного такого послания „К Мише“, написанного в 1852 г.

[3]) А. Фет. „Мои воспоминания“. М. 1890. Часть II, стр. 62 и 82.

парадоксом истории, ибо одновременно принадлежал к двум фармациям общества — помещичьей и разночинной.

В этом вся разгадка его двойственности. В самом деле—по привычкам и нравам он был барчук, дворянин. Такова была одна сторона его личности. Он вырос в отцовской усадьбе, среди крепостных псарей. Отец его был типичный помещик: сутяга, сластолюбец, охотник, игрок. „Я с утра до вечера в поле гравлю и бью зайцев“ — писал двадцатилетний Некрасов из своего родового гнезда.

Из его писем мы знаем, что у него есть „своя деревнишка“, сельцо Алешутино, близ города Мурома [1]), и когда он приезжает туда, отец посылает ему тройку лошадей, два седла, шесть гончих и трех крепостных. Всякий его приезд в имение Грешнево вызывает суету и суматоху: звенят ключами, чистят мелом серебро, расставляют мебель, готовят пороховницы и патронташи, дворовые мальчишки смазывают прованским маслом разные части ружей. В 1863 году он купил у княгини Голицыной великолепное имение Карабиху с оранжереями и померанцевым садом [2]). Когда его любимые собаки обедают, им прислуживает лакей, подающий им особые блюда на салфетке. „Вообще, по походке, манерам, тону и по всем привычкам он напоминал какого то гордого барина“, —вспоминает о нем одна тогдашняя шестнадцатилетняя девушка [3]). Это было в нем органическое. Среди сановников Английского клуба Некрасов не был парвеню или выскочка, они были с ним на равной ноге, и если кто в ком заискивал, то скорее они в нем, а не он в них. Иные из них, как например гофмейстер Сабуров, даже, не знали, что он сочиняет стихи, а видели в нем просто многолетнего партнера, старинного товарища по картам [4]). Многие из них проигрывали ему несметное количество денег, как, например, министр двора Адлерберг. Тот же Абаза, впоследствии министр финансов, проиграл ему в разное время больше миллиона франков и постоянно был должен ему то пять, то десять тысяч рублей [5]). Некрасову случалось проигрывать единовременно—до восьмидесяти тысяч рублей. Его кареты, охоты, егеря, повара и лакеи были подстать той широкой жизни, которую вели самые великопоставленные члены Английского клуба. По всем своим привычкам и вкусам он ничем не отличался от них. Балет, рысаки, шампан-

[1]) А. Н. Пыпин. „Н. А. Некрасов“. СПБ. 1905, стр. 165.
[2]) „Сев. Край“. 1902. № 319.
[3]) Некрасовский Сборник, СПБ. 1918, стр. 39.
[4]) „Неизданные произведения Некрасова“. СПБ. 1918, стр. 93.
[5]) „Архив села Карабихи“. М. 1916, стр. 73—76 и 290.

ское, первоклассный портной, даже содержанка-француженка Селина Лефрен из актрис Михайловского Театра,—все делало его вполне своим в этом обществе крупнейших помещиков, важнейших чиновников, инженеров, дипломатов, генералов.

Но столь же подлинным и органическим было плебейство этого „гордого барина". С того времени, когда в 1838 году семнадцатилетний Некрасов поселился в „Петербургских Углах" и сделался—по его же выражению—литературной бродягой, в нем с необыкновенной резкостью проявились те свойства плебея, которые впоследствии, через несколько лет, привлекли к нему сочувственное внимание Тургенева, Герцена, Огарева, Боткина, Бакунина и других писателей-дворян. Рядом с ними он казался почти пролетарием. В его лице был предвосхищен историей тот тип разночинца, который проявился в России лишь десять лет спустя—в шестидесятые годы. Поразительно, как мало он похож на всех своих литературных сверстников — „людей сороковых годов", гегельянцев, созданных дворянскими усадьбами, и как легко он сошелся с семинаристами шестидесятых годов, с Чернышевским и Добролюбовым,—именно потому, что и сам был таким же плебеем.

Писатели сороковых годов, созданные дворянскими гнездами, бывали за-границей, как дома, скитались по европейским музеям, читали книги на трех-четырех языках, а он, кроме своей ярославской глуши и Петербургских Углов, смолоду ничего не видал. В Гегеле не понимал ни звука. Когда через много лет он уехал, наконец, в Италию, Тургенев и Герцен потешались над ним: „Некрасов в Риме это щука в опере", так неуместен казался им этот малообразованный плебей среди памятников старинной культуры... Образование его было грошевое, именно такое, какое достается плебеям: он был в полном смысле слова самоучка; такие люди, как Тургенев и Герцен, казались рядом с ним профессорами. Покуда они в сороковых годах занимались своей метафизикой, он, чтобы не умереть на панели, делал деньги, по-мещански не брезгая никакими „аферами", не боясь, что в нем увидят торгаша, щелкал на счетах, по-ярославски, хлопоча о копеечной прибыли.

В то время слово аферист не было ругательным словом и означало просто дельца, так что, когда Белинский говорил об аферах Некрасова, в этом не было никакого упрека. Некрасов действительно всю жизнь занимался аферами, всю жизнь его тянуло к этому недворянскому заработку. Едва только освоившись в петербургской литературной среде, он, полумальчик, берется за грошевое изда-

тельство—и через несколько лет, издав „Польку в Петербурге“ и „Статейки в стихах без картинок“, мечтает открыть книжную лавку, издавать журнал „Иллюстрацию“ или „Русский Вестник“, или „Сын Отечества“, а также „Библиотеку романов, повестей, путешествий“. Впоследствии он издал сочинения Кольцова, Шекспира, „Книги для легкого чтения“ [1])...

Он действительно скупил сочинения Гоголя и перепродал их с прибылью, но уже в той брезгливости, с которой в сороковых годах говорили об его торгашестве, сказывались аристократические дворянские вкусы. Поразительно: на черновых рукописях стихотворений Некрасова нет этих дворянских рисунков, женских ножек, кудрей, лошадей, силуэтов, которых столько, например, у Пушкина. —а все цыфры, счета, целые столбики чисел. Стихи перемешаны с цыфрами, цыфры со стихами. Рубли и рифмы, рифмы и рубли. У кого из поэтов, кроме Некрасова, возможно такое сочетание! Если бы не эти цыфры, он умер бы с голоду, потому что—как бы ни были преувеличены рассказы о его нищете,—нет никакого сомнения, что в 1838,—39,—40,—41 годах он был литературный пролетарий, нередко бегавший зимою без пальто, не обедавший по целым неделям, действительно имевший возможность запастись на всю жизнь психологией литературного плебея.

Именно от этих чисто-социальных причин и произошла его пресловутая двойственность. Не от лицемерия он был двойной человек, а оттого, что в одно и то же время принадлежал к двум противоположным общественным слоям, был порождением двух борющихся общественных групп. Это то и раскололо его личность. Если бы он родился поколением раньше, он был бы цельной фигурой помещика: страстный борзятник, игрок, женолюб. Если бы он родился поколением позже, он был бы цельной фигурой революционного фанатика-бойца—сродни Каракозову или Нечаеву. Но он родился в переходную, двойную эпоху, когда дворянская культура, приближаясь к упадку, утратила всякую эстетическую и моральную ценность, а культура плебейская, столь пышно расцветшая впоследствии, в шестдесятых годах, намечалась лишь робкими и слабыми линиями. Как и все, родившиеся на рубеже двух эпох, как, например, Вольтер или Лассаль, он являлся носителем типических черт и той и другой эпохи. Можно ли удивляться тому,

---

[1]) Белинский. Письма 1914 т. III. 125; Полн. Собр. Соч. Достоевского. СПБ. 1883 т. I. Письма, стр. 49: „Историч. Вестник“, XLIII.

что Лассаль, этот, как его называли, мессия голодных, вращался в великосветских кругах и устраивал роскошные обеды, первые во всем Берлине по изысканности. Лассаль был таким же созданием двух смежных, противоположных слоев, и был бы лицемером лишь тогда, если бы старался подавить в себе какую нибудь из этих двух ипостасей, великосветскую или плебейскую. Но он дал обеим величайший простор, и в этом красота его человеческой личности.

В этом же обаяние Некрасова: он был бы лицемером лишь тогда, если бы прятал в себе какую нибудь из противоречивых сторон своей личности и выставлял бы напоказ лишь одну. Пусть он жил двойною жизнью, но каждою искренне. Он был искренен, когда плакал над голытьбою подвалов, и был искренен, когда пировал в бельэтаже. Он был искренен, когда молился на Белинского, и был искренен, когда вычислял барыши, которые он из него извлечет. Он был искренен, когда оплакивал народное горе, и был искренен, когда помогал своему брату Федору строить винокуренный завод. У него же самого,—скажем кстати,—никакого завода не было. Он искренне возмущался гурманами, которые ставят сосискам отметки, и столь же искренне участвовали в этом гурманстве сам. Напрасно думают, что если он жил двумя жизнями, то одна из них была непременно фальшива. Все подлинные факты его биографии свидетельствуют, что среди бар он легко и свободно проявлял в себе барина, без натуги, оставаясь самим собою, потому что и вправду был барин, и что, очутившись в плебейской среде, в обществе Добролюбова, Чернышевского, Николая Успенского, столь же свободно, тоже оставаясь самим собою, проявлял в себе плебея, потому-что и вправду был плебей. Он был правдив и тогда, и тогда. Характерно, что даже обеды, которые давал он гостям, были различного стиля: для аристократов одни, для демократов другие, и соответственно со стилем обеда он изменялся и сам. Но разве он изменялся нарочно. Неужели он был таким гениальным актером, что мог в течение всей своей жизни так неподражаемо играть две столь различные роли? Нет, они обе были органически присущи ему, он не играл их, но жил ими.

Не в том беда, что он был двойным челевеком, а в том, что он не хотел быть двойным человеком, ненавидел в себе эту двойственность, считая ее чуть не преступлением. Худо было то, что всю жизнь Некрасов-плебей проклинал Некрасова-барина, что два жившие в нем человека постоянно ссорились друг с другом.

Что враги? Пусть клевещут язвительней,
Я пощады у них не прошу.
Не придумать им казни мучительней,
Той, которую в сердце ношу.

„Я не слишком нравлюсь себе самому“... Я „осудил сам себя беспощадным судом“,—это самомучительство было его постоянной болезнью. Плебей осуждал в нем барина, барин чуждался плебея. „Моя консистория“—говорил он в великосветском кругу о своих сотрудниках-семинаристах [1]), и нельзя было представить себе, что он же, в другие минуты, плачет, умиляясь своей консисторией. Если бы от его воли зависело уничтожить в себе эту двойственность, он отдал бы все богатства своей сложной, раздираемой противоречиями души, лишь бы сделаться цельным,—хоть убогим, но цельным, быть либо барином, либо плебеем. Цельность, это качество малоодаренных натур, прельщало его до того, что он завидовал даже ограниченным людям, не догадываясь, что именно в этой двойственности трагическая красота его личности. Если он так дорог и родственно близок нашему поколению, то именно потому, что он был сложный, грешный, раздираемый противоречиями, дисгармонический, двойной человек, и только на минуту представить себе, что он все тридцать лет под ряд был беспорочным служителем своего направления, не знающим ни искушений, ни падений,—и все обаяние его волнующей живой человеческой личности мгновенно исчезнет, его образ покажется скучным, хрестоматийно-элементарным и пресным.

У нас в литературе завелась целая секта опрèснителей и упростителей Некрасова. Каждый из них только и делает, что подмалевывает, затушевывает, приглаживает, прихорашивает, ретуширует подлинный облик Некрасова, так, что в результате Некрасов похож уже не на себя, а на любого из них, туповатого и стоеросового радикала,—но мы из уважения к его подлинно-человеческой личности должны смыть с него эту бездарную ретушь, и тогда пред нами возникнет близкое, понятное, дисгармонически-прекрасное лицо—человека.

[1]) „Гол. Минувшего“ 1915, I, стр. 9—10.

AR 17 1977
APR 18 1977

ECHEANCE	DATE DUE
MAY 28 1979	
JUN 11 1979	
NOV 29 1984	

LAURENTIAN UNIVERSITY
UNIVERSITE LAURENTIENNE

BIBL. J.N. DESMARAIS LIBR.
3 0007 00617155 6

UTL AT DOWNSVIEW
D RANGE BAY SHLF POS ITEM C
39 16 02 02 13 011 5